

Александр Васькин

«Много бронзы и много тьмы»

Повседневная жизнь литературной богемы Москвы 1920—1930-х годов

От редакции: Очерк быта и нравов творческой интеллигенции, предложенный Александром Васькиным, как нельзя кстати подошел к юбилею «ДН». Он погружает читателя в атмосферу времени, когда начал выходить альманах «Дружба народов», и места — усадьба на Поварской, — где многие десятилетия был прописан наш журнал.

Как всё начиналось

Уже первая революционная зима 1918 года ввергла Москву в почти доисторические времена: все системы жизнеобеспечения были разрушены, в том числе канализация и отопление. Продукты в разоренной гражданской войной стране закончились так же скоро, как и дрова, без которых в суровую зиму обойтись было невозможно. Творческая интеллигенция неожиданно для себя оказалась абсолютно беспомощной перед лицом дефицита. Еще недавно верилось: все пережили, и революции, и Первую мировую войну, и вроде как-то справились, — но завтрашний день не обещал ничего хорошего, со всей очевидностью встал вопрос выживания, вечный вопрос: «Что делать-то?».

Для Алексея Толстого, скажем, ответ оказался очевидным: ехать туда, где еще есть еда, — на Украину (там немцы, зато сытно!), а потом уж ясно будет. Так и сделали, наскоро собравшись, всей семьей, включая годовалого сына Никиту (будущего народного депутата РСФСР), погрузились на поезд до Курска, а там до Харькова. «Литературно-концертное турне» Толстого в итоге закончилось в Берлине. Пережив пять первых голодных лет Советской России в эмиграции, обратно он вернется в 1923 году и станет крупной общественно-политической фигурой, проблемы выживания уже не будет, а будут усадьба на Спиридоновке, негласный титул «красного графа» и статус выдающегося советского писателя, по случаю кончины которого в 1945 году объявят траур (случай невиданный).

Ну а остальные? Им-то куда было ехать? И кому они там за границей нужны в таком количестве?..

¹ *Васькин Александр Анатольевич* родился в 1975 году в Москве. Писатель, культуролог, историк. Окончил Московский государственный университет печати. Лауреат Горьковской литературной премии (2009), финалист премии «Просветитель» (2013), лауреат конкурсов «Лучшая книга года», автор более трехсот публикаций, в том числе сорока книг. Живет в Москве.

Полностью книга «Повседневная жизнь советской творческой богемы» выходит в издательстве «Молодая гвардия».

Инфляция съела все накопления, золото-бриллианты мерили не каратами, а фунтами хлеба. Но российская богема не привыкла голодать и холодать, более того, источником своего существования она традиционно полагала творческую, а не какую-либо иную профессиональную деятельность. А когда нечего есть, то книги, картины, спектакли отходят на второй план: не до жиру, быть бы живу. В такой ситуации повседневная жизнь богемы становится очень похожей на жизнь простых обывателей, рыскающих в поисках куска хлеба.

Ни о каком прежнем уюте и речи не было. Жуткое впечатление производил московский дом Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, куда писатель Борис Зайцев привез на салазках дрова: «Квартира немалая, так расположена, что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолок, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам с намерзшим в углах снегом, стучу в знакомую дверь, грохочу на пол охапку дров — картина обычная: посередине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми, нервно-мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякою теплой рванью Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка». Маленькая дочь поэтессы Аля очень боялась крыс, залезавших на ее кровать, — грызунам нулевая температура в доме была нипочем. Цветаева и в мирное-то время была безалаберна в быту (свойство многих творческих людей), а тут разуха — хоть ложись, да помирай. В самом деле, трудно представить ее выходящей ночью воровать заборы — этим занимались тогда многие москвичи, искавшие, чем бы растопить печку.

Спекулянты тем временем правили бал, торгуя из-под полы дефицитом. «Ни для кого не тайна, — писала газета «Вечерний курьер», — что центральным продовольственным пунктом в Москве является Павелецкий вокзал. Там — и мука, и масло, и сахар. “Запретные” продукты продаются теперь на Павелецком вокзале совершенно открыто с аукциона, будто бы устраиваемого в пользу каких-то неведомых “жертв”. Торгаш в солдатской шинели взгромождается на скамейку, и вопиет: “В пользу жертв последнего переворота — пуд муки с аукциона!” И поднимает над головой мешочек-пудовичек. “Цена — 45 рублей. Кто больше? Подсыпай ребята!” Публика подсыпает. Таким образом, цена пуду муки взвинчивается совершенно “легальным” путем до 100 и больше рублей. Нехорошо только, что мука, несмотря на “высокую цель”, остается прежнего качества, самая павелецкая, намешанная негашеной известкой». Но ведь у многих и такой муки не было.

В столь тяжелых условиях оставшиеся в Москве литераторы выступили инициаторами создания учреждения, способного дать приют и пропитание наиболее нуждающимся коллегам. Это была своего рода творческая коммуна (вообще же идея жить коммуной впервые зародилась у французских поэтов и художников в Париже, на Монмартре, еще во второй половине XIX века). Голод и холод, а также необходимость общения и сплотили богему под одной крышей, поскольку выжить поодиночке было просто нереально. Среди поддержавших эту идею были Андрей Белый, Марина Цветаева, Вячеслав Иванов, Борис Пастернак, Юргис Балтрушайтис, Борис Пильняк, Маргарита Сабашникова, Александр Серафимович, Владислав Ходасевич, Георгий Чулков, Вадим Шершеневич.

С предложением обратились в Народный комиссариат просвещения к товарищу Луначарскому — единственному в своем роде богемному персонажу в Совнарком — и встретили горячее сочувствие и деятельное участие. Разговор интеллигенции с Луначарским состоялся в конце 1918 года в Кремле. Когда гости зашли к наркому, то к своему удивлению встретили там пьяного писателя Ивана Рукавишников, очень похожего на Луначарского своей козлиной бородкой. Сначала говорил Луначарский — в том духе, что он проблемы интеллигенции знает, что рабоче-крестьянская власть

разрешает творить, сочинять, но не против себя, а если что — то... лес рубят, щепки летят.

Затем голос подал проснувшийся Рукавишников, заплетающимся языком он изложил главную идею Наркомпроса: «Надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки.... дворец из стекла и мррра-мора... и ал-л-люми-иния... м-м-мда-а... и чтобы все комнаты и красивые одежды... эдакие хитоны — и как его? Это самое.... — коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инструментах, а кроме того, замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или — как ее там? — опера, то сейчас это всё кол-л-лективно сочиняют з-з-звучные слова и рисуют декорацию, и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай все будут очень сча-а-астливы. Величина театрального зала должна равняться тысяча пятистам сорока восьми с половиной квадратным саженам, а каждая комната — восемь сажен в длину и столько же в ширину. И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом».

Луначарскому стало неудобно за Рукавишникова, а гостям (Ходасевичу и другим) противно. На том и распрощались.

Вскоре стало известно об организации Дворца Искусств и что Анатолий Васильевич — добрая душа — не нашел ничего лучше, чем дать приют голодным писателям под крышей усадьбы на Поварской, в одном из флигелей которой он жил вместе с новой пассией — уроженкой Чернобыля, двадцатилетней актрисой Натальей Розенель, годящейся ему в дочери. Ее муж как-то очень удачно сгинул на фронтах Гражданской войны. В девичестве ее фамилия была Сац — она приходилась сестрой композитору Илье Сацу, автору музыки к мхатовской «Синей птице», безвременно скончавшемуся в 1912 году. Сацы окружили наркома просвещения со всех сторон: брат Розенели Игорь служил у Луначарского личным секретарем (он потом долго в «Новом мире» работал у Твардовского: критик-выпивоха любил прокатиться по Москве на мотоцикле с Владимиром Войновичем). Племянница Розенели — Наталья Сац — произвела такое сильное и недетское впечатление на Луначарского, что в 18 лет стала самым молодым в мире директором театра, пусть и музыкального.

Кстати, у нее была еще сестра Нина — поэтесса, любовница Якова Блюмкина, убитая при загадочных обстоятельствах на пляже в Евпатории в 1924 году. Но о ее отношениях с наркомом нам ничего не известно.

Официальная биография Луначарского утверждает, что до 1922 года он жил в Кремле, а затем переехал в Денежный переулок. Но это не так. Жил нарком не в Кремле, а в основном на Поварской, что запомнила Ариадна Эфрон. В это время он еще был связан узами брака с первой женой Анной, она-то и жила в кремлевской квартире. Вероятно, как настоящий большевик, нарком не мог себе позволить привести туда еще и любовницу. Подруга Ленина Инесса Арманд также, между прочим, жила не в Кремле, а рядом — на Манежной улице. Высокие были отношения. С другой стороны — ну где еще жить большевистскому наркому — только во Дворце Искусств!

На Луначарского, к слову сказать, очень был похож Евгений Евстигнеев: нацепит пенсне и бородку, глядишь, и вот он, живой Анатолий Васильевич. Однажды в спектакле «Большевики» театра «Современник» в сцене, где нарком выходит из комнаты больного Ильича, артист оговорился: вместо фразы «У Ленина лоб желтый...» сказал «У Ленина жоп желтый». Реакцию других участников спектакля и зрителей угадать нетрудно. Но как-то обошлось.

Для молодой жены Луначарский не жалел ничего и никого, одевал ее в шелка и бархат, отдал в полное ее распоряжение служебный автомобиль, возил по заграничным курортам, задерживал отправление поезда, когда она опаздывала, писал для нее пьесы.

Уже позже, году в 1927, в Малом театре шла в его переводе драма Э. Штуккена «Бархат и лохмотья», играли Остужев и Розенель. Давно точивший на наркома зуб житель Кремля Демьян Бедный, поселившийся в одном коридоре с членами Совнаркома, написал эпиграмму:

Цена в искусстве рублики,
Нарком наш видит цель:
Дарить лохмотья публике,
А бархат — Розенель.

Луначарский ответил:

Демьян, ты мнишь себя уже
Почти советским Беранже.
Ты, правда, «б»,
ты, правда, «ж».
Но все же ты — не Беранже.

Демьян не успокоился, напечатав в «Правде»:

Законный брак — мещанство? Вот так на!
А не мещанство — брак равнять с панелью?
Нет! Своего рабочего окна
Я не украшу... Розенелью!¹

Луначарский был против «одемянивания нашей поэзии», назвав это обеднением.

Итак, озвученная пьяным Рукавишниковым идея о Дворце Искусств нашла свое воплощение на Поварской, в национализированной усадьбе, где Лев Толстой некогда поселил большую семью Ростовых. До 1917 года здесь доживала свой век графиня Елена Федоровна Соллогуб, бывшая фрейлина императрицы. Старушку не стали пускать в расход, а просто переселили в каморку ее не менее ветхой прислуги, экономки Дарьи Трофимовны. Сразу после переезда столицы в Москву в усадьбу въехал Народный комиссариат по делам национальностей во главе со Сталиным, но не надолго — по причине неудобной планировки. И тогда решили отдать усадьбу под Дворец Искусств.

Устав Дворца Искусств был принят на учредительном собрании 30 декабря 1918 года и утвержден Наркомпросом 12 января 1919 года — то есть это изначально было отнюдь не самоуправляемое учреждение. Предполагалось, что московский дворец стоит во главе целой Федерации или Федерального союза Дворцов и Домов Искусств РСФСР, имеющей филиалы по всей России — в Петрограде, Нижнем Новгороде, Костроме и других городах. Среди целей дворца было «развитие и процветание научного и художественного творчества» и «объединение деятелей искусства на почве взаимных интересов для улучшения труда и быта», а также проведение «митингов, концертов, лекций, музыкальных вечеров» с «приисканием соответствующих гастролеров». Дворец Искусств имел четыре отдела — литературный, художественный, музыкальный и историко-археологический — и дал приют представителям всех творческих профессий: писателям, переводчикам, художникам, скульпторам и много кому еще. Кто-то жил здесь постоянно, другие навещали друзей, третьи приходили отогреться и поработать в тепле, четвертые обедали в столовой.

Во главе сего начинания к удивлению культурной общественности Луначарский посадил... того самого Рукавишникова, позабытого ныне писателя, насочинявшего прозы и стихов аж на двадцать томов, изданных к 1925 году. Не стоит, правда, удивляться такой плодовитости — стихов в духе символизма было немного, зато напечатаны они были причудливо, с подвывертом: «Строки располагались в виде

¹ Розенель — еще одно название герани, символа мещанства.

геометрической фигуры — треугольника, звезды, трапеции, еще как-то». Внешность поэта запоминалась сразу: «С вида он был похож на мушкетера, хотя без шпаги, ходил в плаще, в широкополой шляпе, только без пера, в сапогах с широкими отворотами и носил длинные рыжеватые кудри и длинные, как два горизонтальных прутика, усы и длинную, узкую бородку в стиле Людовика XIII», — вспоминал князь Сергей Голицын. Туберкулезник Рукавишников, будучи уверенным, что водка спасает от этой коварной болезни, пристрастился к спиртному. Поэт Борис Садовской писал: «Мой земляк И.С.Рукавишников, напиваясь, мотал головой, мычал и сердито швырял посуду. Узкая рыжая борода его купалась в бокале. Трезвый зато бывал очень мил».

Рукавишников происходил из Нижнего Новгорода, но в отличие от Горького никто ему «сеledкой в харю» не тыкал. Рукавишниковский род был очень богатым, однако вместо того, чтобы умножать семейный капитал, наследник ударился в сочинительство. И ведь до чего досочинялся — написал автобиографический роман-памфлет о собственной купеческой семье, где главным героем — бездушным толтосумом и миллионером-стяжателем — вывел своего родного деда! Роман назывался «Проклятый род», вышел в 1912 году и прославил в некоторой степени его автора. Но проклят оказался и сам отщепенец Рукавишников — родня лишила его миллионного наследства. Однако поскольку до революции было уже рукой подать (он ее приближал, помогая большевикам деньгами до своего проклятия), писатель не слишком расстроился. Его добрые дела не забылись — потому он и присутствовал на той аудиенции у Луначарского в 1918 году. У писателя, ходившего во френче, были даже свои персональные сани, что стояли на парковке у Кремля, про них так и говорили: «Это для товарища Рукавишникова».

Воцарившись во Дворце, Рукавишников стал принимать заявления в члены от тех поэтов, кто не удосужился еще отметить собранием собственных сочинений, например, от Сергея Есенина, написавшего: «Москва. Во Дворец искусств. Прошу зачислить меня в число членов Вашего союза. (В литерат<урный> отд<ел>). 28 апр. 1919». На сохранившемся в архиве заявлении рукой Рукавишникова написан адрес: «Арбат. Б. Афанасьевск<ий>, 30, кв. 5». То был адрес поэта-имажиниста Бориса Кусикова, у которого тогда квартировал Есенин, здесь же их обоих арестовали в ночь на 19 октября 1920 года и увезли на Лубянку в ЧК. Арест был «случайным», скоро их отпустили. Обычно бесквартирный Есенин в Москве жил у друзей, например, в сентябре 1918 года они вместе с Сергеем Клычковым поселились на чердаке в доме на Воздвиженке. Иногда Есенин ночевал там же у поэта Михаила Герасимова, жившего в не менее экзотических условиях — в ванной (видимо, в те времена ваннные комнаты были несравнимо больше, чем сейчас). А в 1919 году Есенин общежитствовал с журналистом Георгием Устиновым, имя которого сегодня прочно забыто, а тогда он часто выступал со статьями на литературные темы во многих газетах и журналах. Георгий Устинов был большим другом Есенина, повлияв на духовное формирование поэта. В его воспоминаниях читаем: «В начале 1919 г. Сергей Есенин жил у меня в гостинице «Люкс», бывшей тогда общежитием НКВД, где я имел две комнаты. Мы жили вдвоем. Во всех сутках не было ни одного часа, чтобы мы были порознь... Около 2 часов мы шли работать в «Правду», где я был заведующим редакцией. Есенин сидел со мной в комнате и прочитывал все газеты, которые мне полагались... Потом приходили домой и вели бесконечные разговоры обо всем: о литературе и поэзии, о литераторах и поэтах, о политике, о революции и ее вождях». В 1925 году Устинов первым обнаружит повесившегося Есенина. А в 1932 году Устинов и сам накинёт на себя петлю.

Сергея Александровича приняли в члены дворца без всяких рекомендаций, а вместе с ним еще и Вяч.Иванова, Бальмонта, Чулкова, Гершензона, Пришвина, Скитальца, мастеровитую семью Гиляровских — дядю Гиляя, его дочь и зятя, а также пушкиниста Николая Ашукина, Михаила Осоргина и других, «желательность и

полезность коих не подлежит сомнению». Всего 22 человека. На этом, слава Богу, и остановились — хотя дефицит творческих кадров по сравнению с Петроградом проявлялся со всей очевидностью. Наплыв заявлений от считающих себя литераторами надо было как-то остановить, посему собрание литературного отдела Дворца 14 июня 1920 года приняло решение о внесении изменений в правила зачисления: сначала принимали в кандидаты, а потом уже в члены (прямо как в партию!). Кандидатам требовались две рекомендации, а действительным членам уже пять. Вот когда, оказывается, зародилась творческая бюрократия.

Учитывая столь сложную систему отбора, от Дворца Искусств вправе было ожидать кипучей творческой работы в, частности, издательской деятельности. Было объявлено, что вскоре выйдет из печати «Первый сборник стихов Дворца Искусств» со стихами Бальмонта, Белого, Есенина, Хлебникова, а также «Марианны» Цветаевой. Но почему-то первым и единственным изданием Дворца так и осталась книга его «коменданта» Рукавишников.

Цветаева, проживавшая неподалеку, также обращалась к Рукавишникову с просьбой: «Прошу зачислить меня в члены Дворца Искусств по литературному отделу. Марина Цветаева. Москва. Поварская. Борисоглебский пер., д. 6, кв. 3». Ее приняли, но лишь кандидатом в члены, 26 ноября 1920 года, что уже было неплохо, ибо давало право на дополнительное питание. В бытовых записях Цветаевой находим: «В детский сад — Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову — не дают ли хлеб». «Усиленный» — означает академический паек, который представителям московской богемы выдавали в ЦЕКУБУ — Центральной комиссии по улучшению быта ученых на Пречистенке («Здесь Цекубу, здесь леший бродит, русалка на пайке сидит» — стишок тех времен). «Пражская столовая» Моссельпрома находилась в бывшем ресторане «Прага». Бывший гастроном Генералова, где давали хлеб по карточкам, находился в тоже бывшем доме страхового общества «Россия» на Лубянской площади.

Слово «паек» прочно вошло в советский лексикон после 1917 года. Почему-то вспоминается оскорбление из романа Василия Аксенова «Остров Крым»: «Сволочь пайковая», высказанное главным героем Лучниковым высокопоставленному сотруднику ЦК КПСС. Выдавались пайки безвозмездно, что самым негативным образом отразилось на морально-нравственном состоянии привилегированных слоев населения. Собственно, сами пайки и были одной из первых советских привилегий. Не успели большевики повсеместно утвердить свою власть, а пайки ввели в первую очередь. «Паек — атом социалистической системы, — пишет Александр Генис, — "Социализм — это учет", — говорил Ленин. Из этой формулы следует, что идеальная позиция — у раздачи. Чтобы облегчить себе контроль, власть всегда старалась сузить коридор, через который происходит обмен товарами. Продовольственный паек стал самым простым и самым очевидным инструментом влияния на общество. Пайки существовали на всем протяжении советской истории, вплоть до ее последних перестроечных дней, когда они прибрали форму "продуктовых заказов", которые распределяли по предприятиям».

Пайков в те годы было множество — красноармейский, балтфлотовский, фронтовой, совнаркомовский, транспортный и т. д., общим числом до тридцати. Пайки членам Дворца Искусств выдавались ежемесячно, причем очень хорошие — академические, полагавшиеся ученым Академии наук. В их составе были: 35 фунтов муки (пшеничной и ржаной) — 14 кг 350 г, 12 фунтов крупы (разных круп) — 5 кг, 6 фунтов гороха — 2 кг 500 г, 15 фунтов мяса — 6 кг 150 г, 5 фунтов рыбы — 2 кг, 4 фунта жиров — 1 кг 640 г, 2,5 фунта сахара — 1 кг 25 г, 0,5 фунта кофе — 205 г, 2 фунта соли — 820 г, 1 фунт мыла — 450 г, 0,75 фунта табака, 5 коробок спичек. С 1921 года пайки выдавали еще и членам семей писателей и художников. Усиленный академический

пайек получал и мальчик Дима Шостакович по ходатайству композитора Александра Глазунова, директора Петроградской консерватории. Всего же к 1922 году число академических пайков в стране превысило 15 тысяч, из которых немалая часть досталась представителям советской богемы, чему поспешествовал Анатолий Луначарский.

Нарком не раз хлопотал перед Лениным об увеличении числа пайков — например, в письме от 13 июля 1920 года: «С пайками для писателей и художников вообще вышла порядочная чепуха. Воспользовавшись моим отъездом, нам дали их раз в 10 меньше, чем обещали. При таких условиях за бортом оказалось, по самому малому счету, говоря о Москве, человек 200, безусловно заслуживающих пайка в такой же мере, как те 175, которых я имел возможность удовлетворить».

ЦЕКУБУ и распределением рабочего пайка руководил Артемий Халатов, которому 13 июля 1920 года Луначарский писал: «В ближайшие дни я собираюсь заехать к Вам для переговоров о некотором хотя бы расширении количества пайков, предназначенных Вами для литераторов и художников, так как их крайне недостаточно и распределение их в столь ничтожном количестве неизбежно приведет к целому ряду вопиющих несправедливостей. Отсутствие пайка для них равносильно, так сказать, скандалу в Советской Республике». Распределение пайков среди интеллигенции, таким образом, имело своей целью и снижение негативных последствий ненужного шума за рубежом: большевики морят голодом свою богему!

Одного скандала, по крайней мере, избежать не удалось — в марте 1921 года на Западе узнали о якобы голодной смерти ученого Николая Жуковского. Хотя было ему на тот момент 74 года и умер он от старости. Следуя правде, надо сказать, что большевики об «отце русской авиации» не забыли: за год до его кончины в 1920 году издали декрет об учреждении персональной премии имени ученого и льготах для него. Но дыма без огня не бывает — вот и понеслось по миру: «Умер от голода, какой ужас!», и до сих пор несетя.

Всех, конечно, не накормишь. Чтобы ученые и деятели культуры не помирали друг за другом, наиболее видных из них решили окружить теплотой и заботой, разделив их на пять категорий по степени значимости. Например, к самой высшей отнесли Васнецова, Шаляпина и Собинова. Кто и по какому рангу достоин великой чести, определяли близкие к Совнаркому люди, в частности, председателем музыкальной комиссии назначили Бориса Красина, так называемого «музыкального министра» и брата известного наркома, которому коллеги очень обрадовались: «Милый и обязательный человек, вовсе не коммунист и человек не очень далекий». Характеристика своеобразная: пусть недалекий, но главное — не коммунист!

Для счастливиц устроили санатории в отобранных у буржуев усадьбах — в Петергофе, Детском селе, Гаспре, Кисловодске. Для москвичей санатории организовали в Болшево и Узком, бывшем поместье князей Трубецких. В Узком бывали с тех пор многие, в том числе литераторы Викентий Вересаев, Всеволод Иванов, Осип Мандельштам, Самуил Маршак, Пастернак, Пильняк, Есенин, Корней Чуковский и многие другие. И конечно, почти все писательское население Дворца Искусств во главе с Иваном Рукавишниковым.

Примечательно, что уже тогда творческая и научная общественность научилась заигрывать с властями предрержащими. В частности, в Узком поселили одну из сестер Якова Свердловы — в 33 года безвременно усопшего соратника Ленина, первого председателя ВЦИК, организатора Красного террора и расстрела царской семьи. И это далеко не все его «заслуги» перед советским народом — после его смерти остался сейф, при вскрытии которого в 1935 году обнаружили кучу золота и бриллиантов на сотни тысяч рублей, а главное — пустые бланки паспортов, хранившиеся, надо полагать, «на всякий случай». Этого «случая» большевики ждали вплоть до начала 1920-х годов, будучи вовсе не уверенными в прочности своей власти. Так вот, сестра

Свердлова Софья Авербах жила в самых больших и удобных апартаментах усадьбы, ездила на машине марки «Мерседес». В Узком она ни с кем не общалась, да никто и не искал с ней знакомства, при ее появлении в столовой все замолкали. Прозвали под стать поведению — «Свердлейшая». В 1937 году сестра Свердлова будет репрессирована — как «член семьи изменника родины» Генриха Ягоды, приходившегося ей зятем.

Необычно объяснялось присутствие Софьи Авербах в Узком: это было своеобразной взяткой — «любезностью, имеющей целью заpastись симпатиями власть имущих на предмет получения средств для санатория и вообще на ЦЕКУБУ, которое все время должно было бороться за свое существование. В Кремле была значительная партия противников "подкармливания ученых", в которых видели противников режима и во всяком случае скрытых контрреволюционеров», — вспоминал Леонид Сабанеев в эмиграции.

В летописи Узкого осталось также имя сестер Цветаевых, но все же жизнь Марины более тесно связана с домом на Поварской. Еще до Дворца Искусств она ходила сюда на службу в Наркомнац, куда устроилась в ноябре 1918 года «помощником информатора Русского стола». Во Дворце Искусств Цветаева читала стихи и сама слушала, как читают Блок, Бальмонт, Брюсов, Есенин. Здесь 7 июля 1919 года поэтесса читала пьесу «Фортуна», действие которой разворачивается в середине XVIII века: «Читала в той самой розовой зале, где служила. Люстра просияла (раньше была в чехле). Мебель выплыла. Стены прозрели бабками. (И люстры, и мебель, и прабабки, и предметы роскоши, и утварь — вплоть до кухонной посуды, — все обратно отбито «Дворцом Искусств» у Наркомнаца. Плачьте, заведующие!) В одной из зал — прелестная мраморная Психея. Много бронзы и много тьмы. Комнаты насыщены. Тогда, в декабре, они были голодные: голые. Такому дому нужны вещи. Поласкалась к своим рыцарям».

Рыцари — это вовсе не мифическая выдумка поэтессы. Рыцари в латах остались с соллогубовских времен и сторожили лестницу в главном усадебном доме, устланную красным роскошным ковром. Гостиные и залы были увешаны старинными картинами, мраморными скульптурами и обставлены изящной мебелью. Розовая гостиная была обтянута по стенам китайским шелком и с розовыми же портьерами на окнах, а были еще зеленая, розовая и желтая гостиные, шедшие анфиладой друг за другом. Особая прелесть — китайский и венецианский салоны. В китайском стояла черная лакированная мебель, радовали глаз перламутровые инкрустации, древнее оружие, маски, вышивки и тончайший фарфор. Венецианская комната — в итальянском стиле: шитая золотом парча, картины и стекло.

Помимо Цветаевой на том вечере выступал Луначарский с переводами из швейцарского поэта Карла Мюллера: «Луначарского я видела в первый раз. Веселый, румяный, равномерно и в меру выпирающий из щеголеватого френча. Лицо средне-интеллигентское: невозможность зла. Фигура довольно круглая, но с «легкой полнотой» (как Анна Каренина). Весь налегке. Слушал, как мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, когда двигались. Но зала была приличная».

«Фортуна» она выбрала из-за монолога в конце: «Так вам и надо за тройную ложь Свободы, Равенства и Братства!» Слова эти были брошены в лицо наркому: «Монолог дворянина — в лицо комиссару, — вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не... хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, — а не всей Лубянке!» Интересно, что через полгода Максимилиану Волошину, 21 ноября, она напишет: «Луначарский — всем говори! — чудесен. Настоящий рыцарь и человек». Вот Анатолий Васильевич уже и рыцарь — как те, что сторожат господский дом, — а все потому, что поспособствовал усиленному пайку для Марины Ивановны. К нему тоже можно приласкаться.

А тогда после вечера добрый Рукавишников через Бальмонта передал Цветаевой, что за чтение «Фортуны» во дворце ей полагается 60 рублей. Она гордо отвела руку

дающего со словами: «60 рублей эти возьмите себе — на 3 фунта картофеля (может быть, еще найдете по 20 рублей!) — или на 3 фунта малины — или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 рублей пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд». Гордый поступок, несмотря на пустоту в доме и на кухне. В эмиграции Цветаева напишет стихотворение «Бузина», в котором будет вспоминать без сожаления эти годы:

...Дайте. Вместо Дворцов Искусств
Только этот бузинный куст...

Зато дочь поэтессы Ариадна Эфрон с удивительно теплотой вспоминала дворец на Поварской: «Пока взрослые собирались, совещались, музицировали, беседовали, выступали, мы, дети, играли в прятки в его гулких подвалах и носились по двору, который был первым нашим детским садом. В те годы Дворец Искусств был не только учреждением, концертным залом, клубом, но и жилым домом; на верхнем этаже правого флигеля летом 1919 года обитали Розенель, Луначарский и двое его мальчиков — сын и племянник. Эти последние, едва приехав и слышав наши голоса, скатились вниз; мальчики были одеты несколько аккуратнее нас, и главное, прочнее обуты. Чтобы не выделяться из «общей массы», они тут же, с места в карьер, схватили какие-то камешки, железяки, всерьез расковыряли свои башмаки и пошли скакать вместе с нами; напрасно мы ждали, что им за обувь попадет: нет, не попало!

Левый флигель был населен «хозобслугой», с которой соседствовали и начинающие литераторы, и певцы, и художники. Самым удивительным в их комнатах были печи, облицованные изразцами с аллегорическими рисунками и таинственными под ними подписями, вроде: «От старости зелье могила», «И не такие подъезжали», «Люби нас, ходи мимо» или «Не тогда жить, когда ноги мыть». В палисаднике флигеля сохли на солнце лозунги и какие-то причудливые, фанерные, свежескрашенные конструкции, предназначавшиеся для праздничного и будничного оформления московских улиц; из открытых окон лились рулады шубертовских «Ручьев».

На заднем, хозяйственном, дворике размещались службы, тянулись грядки общественного огорода, паслась привязанная к колышку коза, верещал в «стайке» поросенок. Тут простирались владения семейства цыган — уборщицы Антонины Лазаревны, ее мужа, шофера, слесаря, мастера на все руки, в прошлом соллогубовского конюха, бабки Елизаветы Сергеевны и двоих детей... На этом же, цыганском, дворике первый директор Дворца Искусств, поэт-футурист Иван Рукавишников, проводил учения с красноармейцами, чередуя грамоту с ружейными приемами; он был рыж и краснолиц, одет в нечто полувоенное, полу-оперное, подпоясан в несколько оборотов длинным шелковым шарфом а-ля калабрийский разбойник. Жена его Нина ведала московскими цирками; иногда она заезжала за мужем в экипаже, запряженном отслужившими свой артистический век, списанными с арены лошадьми».

Какие милые все-таки воспоминания о московской творческой коммуне: огородик, который давал пропитание ее жильцам, — картошечка, лучок, чеснок, коза, поросенок, просто Ноев ковчег какой-то. А еще цыганский табор — прародители богемы, им здесь самое место (французское слово «bohémiens» обозначает выходцев из Богемии, коими в средние века были цыгане, среди которых встречалось немало музыкантов и певцов, зарабатывавших своим ремеслом на хлеб с маслом). Помимо уборщицы с веником и тряпкой, цыганское население представляли ученики «Студии старого цыганского искусства» под управлением актера-гитариста и этнографа Николая Хлебникова, больше известного под псевдонимом Николай Кручинин. Главной его стезей было хоровое дирижирование, услаждавшее слух обьевшихся посетителей «Стрельны» и «Яра» (а сбесившиеся с жиру московские богатеи заказывали цыган на дом, например, булочник Филиппов). После 1917 года рестораны позакрывались,

кушать стало нечего (знаменитый московский цыганский певец Егор Поляков подрабатывал рубкой дров), цыгане рады были бы тронуться из Белокаменной в поисках лучшей жизни — да коней всех съели. Кручинин отважился пойти к Луначарскому: «Здравствуйте, товарищ нарком!» — «Здравствуйте, товарищи цыгане!»

Переговоры о том, какую пользу могут ромалы принести мировой революции, закончились предложением наркома выступить перед бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии, но не за так — а за опять же красноармейский паек с воблой: «Ее подавали на завтрак, из неё варили суп, ею ужинали, запивая сухие дольки морковным чаем с сахарином. Хлеба хватало только на обед», — вспоминал видный советский цыган Иван Ром-Лебедев (кстати, до 1917 года его семья жила в шестикомнатной квартире, имела прислугу). Мы еще не раз встретимся с воблой — одним из символов советского рациона питания, в голодные годы вобла заменяла хлеб всем слоям населения, в т.ч. и творческой интеллигенции. Ее выдавали в пайках и солдатам, и матросам, и рабочим. Тогда этой вяленой и сушеной рыбы было вдоволь, ею даже топили печки-буржуйки. Но потом она куда-то пропала. По тому, как вобла периодически становилась дефицитом, можно проследить всю историю продовольственных кризисов в СССР. Даже на исходе советской власти ее давали в заказах и пайках (морьякам-подводникам и работникам АЭС, из организма которых вобла выводила стронций). Несчастную воблу нещадно били.

Наевшиеся вяленой воблы красноармейцы с восторгом хлопали в ладоши зазывным песням черноголовых и бородатых цыган (а ведь и Карл Маркс чем-то похож на цыгана!). Луначарский, как истинный Ной, решил приютить цыган во Дворце Искусств — пусть поют, так сказать, пропагандируют свое искусство в массах, разбавляя заскучавшее писательское общество. И они запели. А хор Кручинина в дальнейшем участвовал в спектаклях московских театров «Живой труп», «Бесприданница» и даже в опере «Станционный смотритель».

Ну а что же это за чудесница и циркачка Нина — жена Рукавишникова, заезжавшая за мужем в экипаже? О, это самый что ни на есть богемный персонаж. Поговаривали, что именно благодаря ей муж и стал верховодить московским искусством — опять же через Луначарского, большого ценителя женской красоты. Ведь недаром именно Анатолий Васильевич рассматривается в качестве прототипа женолюбца Семплеярова в «Мастере и Маргарите». Вполне на него похоже.

Бог знает кто вынырнул на поверхность после 1917 года. Вот и циркачка Нина Рукавишникова (в девичестве Зусман) возглавила в 1922 году Центральное управление государственными цирками в РСФСР. М.И.Иорданская-Куприна, первая жена Александра Куприна, рассказывала (в пересказе журналиста Н.К.Вержбицкого), что «в Крыму ему [Рукавишникову] пришлось в голову еще раз жениться на изумительной красавице еврейке Нине Зусман, девушке лет 18-ти (в Севастополе до сих пор есть дача Зусмана, отца Нины. — *А.В.*). Но для этого ее нужно было сперва окрестить. И все население Ялты сбежалось к церкви смотреть через окна, как будут опускать эту девицу в купель — совсем голую или в трусиках. Потом Рукавишников с Ниной поехали в Москву. Говорили, будто здесь, уже при советской власти, Нине весьма покровительствовали А.В.Луначарский и Склянский (ближайший помощник Троцкого по военным делам)».

Нина выучила наизусть не только все стихи Рукавишникова, но и пьесы Луначарского, твердя всем об их гениальности. Она обладала странной манерой слушать собеседника, склонив голову набок и раскачиваясь в такт словам. Поговаривали о ее загадочной, чуть ли не гипнотической власти над животными и мужчинами. Рукавишникова действительно разъезжала по Москве в цирковом экипаже, запряженном парой красивых лошадей, то ли из бывшей придворной конюшни, то ли из цирка. Но все же выезд другого циркача — Владимира Дурова — был куда эффектнее. Он

запрягал... верблюда, на котором приезжал обычно в Наркомпрос. Богобоязненные старушки крестились вслед кораблю пустыни...

А вот что пишет об этой колоритной паре Вадим Шершеневич: «Долгие годы Рукавишников был женат на какой-то брюнетке, купеческой дочери... Жил с ней недружно и оборванно. Позже она стала комиссаром цирков, и Рукавишников выступал несколько раз в цирке: читал стихи с лошади. Конечно, свалился. Брюнетка вышла замуж за циркача Дарлея, необыкновенно подозрительного и ловкого человека. По этому поводу ходили веселые частушки. Дарлей скоро стал директором цирка. Супружеская пара долго жонглировала наркомпросовскими сметами. В то время я был журналистом. Много писал о том, как при помощи проворства рук у четы появились автомобили, а дела в цирках шли “спустя рукавишки” (черная купеческая дочь фамилии не переменяла)... После долгих нажимов прессы и общественности ловкачей сняли с работы... Я шел по Мясницкой. Из-за угла вынырнула быстрая машина и чуть не налетела на меня. Я увернулся. Из открытого кузова мне нагло улыбались дарлейцы. Я рассказал об этом Рукавишникову. Он серьезно посмотрел и ответил: “Странно, что она вас не задавила. Она вас не любила”».

Упомянутый Дарлей — на самом деле Ф.Р.Дарле, бывший военнопленный, подданный Австро-Венгрии, жонглер обручами и женскими душами, очень деловой человек, каким-то чудом в октябре 1919 года ставший директором сразу двух национализированных московских цирков — Саламонского на Цветном бульваре и Никитиных на Триумфальной площади (на месте нынешнего театра Сатиры). Циркач Дарле охмурил жену Рукавишникова, которая была его непосредственной начальницей. Так бы они и устраивали цирк на всю Россию, если бы с началом НЭПа Рукавишникову не «вычистили» как представительницу крупного купечества, то есть сняли с работы. А ведь она к тому времени чуть было не вступила в партию. Рукавишников бросила мужа-писателя, съехала из Дворца Искусств и вышла замуж за Ф.Р.Дарле. Вместе они уехали за границу, и очень вовремя — на них «накопилось слишком много горячего материала», как писали тогда.

И все же в памяти жителей дворца она осталась как наиболее яркая его обитательница, которая врывалась, «шумя муаровым или парчовым платьем, в “татьянинском” глубоком декольте и театральной прическе с парикмахерскими локонами, в кинематографическом гриме, закрываясь кокетливо огромным страусовым веером». Эти вычурные строки принадлежат еще одной богемной диве, что жила в коммуналке на Поварской — Нине Серпинской, то ли поэтессе, то ли просто красивой женщине, не терявшей времени зря в окружении достойных ее мужчин-литераторов. Ее мемуары всплыли на поверхность так давно, будучи отвергнутыми еще в начале 1950-х годов в ЦГАЛИ по причине «секретного характера» и принадлежности автора «к аполитичной декадентско-футуристской богеме, кормившейся от щедрот московских купцов». Похоже, жизнь во Дворце Искусств стала последним ярким эпизодом в ее богемной жизни: не приткнувшись хоть где-нибудь, ни в одном из творческих союзов, Серпинская лет тридцать моталась по советским городам и весям, снимала койки в коммуналках и домоуправлениях, на время осела в кельях Новодевичьего монастыря, среди таких же, как и она, «нищих и бывших», закончив жизнь в сумасшедшем доме в середине 1950-х годов.

Тем не менее в мемуарах Серпинской есть очень яркие подробности повседневной жизни описываемой эпохи. Так, в несколько непривычном образе предстают перед нами известные русские поэты, выступающие на литературно-художественных вечерах во Дворце Искусств: «Бальмонт, исступленно бьющий себя в грудь и выкрикивающий: «В войне Алой и Белой Розы мое сердце, творчество, я — всегда на стороне Алой!» Так он прощался с Родиной. Через три дня уезжал по литературной командировке Наркомпроса за границу — и билет, и деньги лежали у него в бумажнике. Я подошла проститься. Он долго тряс мою руку: “О, я вернусь с интернациональным красным

знаменем в руках. Прощай, Родина!" — продекламировал он мне. Через неделю мы все узнали, что, напившись пьяным уже в рижском ресторане, в компании иностранцев он поносил последними нецензурными словами и Родину, и Алюю Розу, и Наркомпрос, на деньги которого уехал».

Действительно, скандал с Бальмонтом в июне 1920 года наделал много шума и поставил под удар его наостривших лыжи коллег: «Если Бальмонт обманет, то не выпустим ни одного писателя, ни одного интеллигента», — сказал по этому поводу Лев Каменев. Борис Зайцев провожал Бальмонта из Москвы: «Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный — и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой “пшенкой” без сахара и масла».

Серпинская пишет о рижском ресторане, в котором напился Бальмонт, хотя выехал он в Ревель, чтобы затем попасть в Париж. Таким образом, подозрительные слухи об антисоветском поведении поэта быстро дошли до Москвы и Дворца Искусств. Луначарский попробовал оправдать Бальмонта, напечатав в «Известиях ВЦИК» следующее: «Ввиду появления время от времени слухов, частью проникших даже в печать, о нарушении якобы Бальмонтом (поэтом) доверия советской власти, выразившегося в разрешении ему уехать временно за границу, определенно заявляю, что никаких оснований для такого рода слухов нет и что от Бальмонта получено мною письмо с категорическим опровержением всяких таких слухов». Тем самым нарком оказал поэту медвежью услугу, ибо в Париже был еще тот клоповник: «Бальмонт в переписке с Луначарским. Ну, конечно, большевик!» — прокомментировала ситуацию радикальная эмиграция.

Не так покидала Россию истинно русская интеллигенция. Бальмонту надо было бы взять пример с «красной баронессы» Варвары Ивановны Иксуль фон Гильденбанд, которую прозвали так не из-за любви к большевикам, а благодаря Илье Репину, увековечившему ее на портрете «Дама в красном платье» еще в 1889 году. В богемном салоне баронессы в Петербурге бывали Лев Толстой, Владимир Соловьев, супруги Мережковский и Гиппиус, Владимир Короленко, Антон Чехов. Свои крепкие связи при дворе она не раз использовала для освобождения Горького из мест заключения, прятала у себя разыскиваемых членов РСДП(б). Вероятно, по этой причине (может пригодиться!) в Европу большевики ее не отпускали, в итоге в январе 1920 года семидесятилетняя женщина (!) тайно по льду залива бежала в Финляндию с помощью проводника-контрабандиста. Скончалась Варвара Ивановна в Париже в 1928 году. Кстати, такой сложный способ отъезда придавал бегущему ореол мученика, а несоблюдение его вызывало серьезные подозрения у эмиграции, что и случилось с Бальмонтом, который «нарушил церемониал бегства из советской России. Вместо того, чтобы бежать из Москвы тайно, странником пробираться через леса и долины Финляндии, на границе случайно пасть от пули пьяного красноармейца или финна, — он четыре месяца упорно добивался разрешения на выезд с семьей, получил его и прибыл в Париж неподстреленным», — писал Серж Поляков.

И все же большевики испугались: «После скандала с Бальмонтом... я начинаю дуть на воду», — писал Луначарский Ленину, не решаясь разрешить выезд Михаилу Арцыбашеву. Заволновался и Андрей Белый, также собиравшийся в Европу. 17 июля 1920 года он жаловался Иванову-Разумнику: «Луначарский посылает в Ревель курьера расследовать это дело; может быть, Бальмонт не повинен; если же он нарушил слово, то я даже не пойду в Комиссариат, где уже имеется протокол о моей командировке. Тогда сам отказываюсь ехать... На месте властей я бы не выпустил сам себя!!» Какой честный перед большевиками человек! Но все же ему поверили, несмотря на странную фамилию.

Белый жил во дворце, оправдываясь перед тем же адресатом 26 августа 1919 года:

«Оставшись без места, я вынужден был сосредоточиться на “Дворце Искусств”; здесь — смесь “Луначарии” с “Ндраву моему не препятствуй” всегда пьяного Ивана Рукавишников; лекторам — задерживаются деньги; Иван Сергеевич заявляет в качестве распорядителя и заведующего: “Я враг порядка и... оккультист!”». Знал бы Белый, что начальник дворца не врёт — он действительно верил во всякие потусторонние силы, обитавшие в богемном дворце. В подтверждение своей правоты он показывал всем две черные комнаты с белыми звездами на потолке, оставшиеся будто от масонской ложи, жертвы которой замурованы в стенах, которые Рукавишников беспрестанно простукивал молотком, причем даже на трезвую голову. Высчитав, что на фасаде дома окон меньше, чем внутри, Иван Сергеевич, пришел к выводу о существовании тайных комнат. Он вызвал милицию, которая обнаружила схрон с ценными вещами бывших хозяев, в т.ч. серебро, меха, хрусталь.

У Белого в гостях во Дворце Искусств как-то побывал Борис Зайцев. В его комнате, окнами выходящей в старый сад, заваленной книгами и рукописями, царил научный беспорядок, стояла черная классная доска — не хватало только учеников. Но одного Зайцева оказалось достаточно, и Белый с ермолкой на голове принялся втолковывать ему свое понимание революции, рисуя на доске всевозможные круги и спирали. Главное, что уяснил в тот день Зайцев, — Россия находится на нижней точке спирали и вот-вот поднимется, хуже уже не будет. Вечер научной фантастики приближался к концу, дело было зимой, пора уже было идти Зайцеву домой, а то скоро москвичи «выйдут воровать заборы, иногда слышны будут выстрелы».

Временами Белый, «умиравший от тоски по жене, А.С.Тургеневой, отрезанной от него границей, после стихов истерически кричал, ломая руки, что ему необходима поездка за границу. Лоб пророка напрягался склеротическими жилами; казалось, мысли, отягчающие натруженную голову, прорвутся через тонкую оболочку нервной кожи и стаями тяжелых, неизвестных птиц закружатся над нами. Однажды группа учительниц-партиек, потрясенных и растроганных, решила написать в Кремль просьбу о разрешении временного выезда Андрея Белого за границу», — вспоминает Серпинская. Однако так называемая жена Белого — художница Анна Тургенева — к тому времени к нему окончательно охладела, уйдя в некое «антропософское монашество». Воссоединения не произошло. Проболтавшись два года в Берлине, поэт-символист вернулся на родину, чем оправдал доверие большевиков. Теперь он вполне мог поменять псевдоним на Красный или в крайнем случае Розовый.

Большое впечатление на жителей литкоммуны произвел приезд из Петрограда поэтов — Льва Гумилёва с Михаилом Кузминым в ноябре 1920 года для участия в «Вечере современной поэзии». Кузмин отметил в дневнике: «В Москве очаровательная погода, много народа, есть еда, не видно красноармейцев, арестованных людей с мешками, и торгуют... Во Дворец искусств ужасная даль... Прелестный особняк. Заходим. Комнат никаких, постелей тоже. Пьяный Рукавишников трясет бородой и хотел одного положить с Держановским (критиком. — А.В.), другого в черную комнату, с черным потолком, без электричества, с дымной печкой. Но когда ее открыли, там обнаружился Пильняк с дамой. В подвале, в чаду кухни грязная сырая столовая... Стихи как-то не доходили, но много знакомых и ласковая молодежь». Гостям было с чем сравнивать — в Петрограде по примеру Москвы в ноябре 1919 года создали свой Дом Искусств — ДИСК на углу Невского и Мойки, но с едой и дровами там было совсем плохо, замерзающий Александр Блок даже сжег конторку Менделеева.

Поэтов усадили за стол, попытались накормить. Кузмин ничего не ел, ковыряя вилкой в тарелке, Гумилёв же положил глаз на Серпинскую в старых валенках и поношенной фуфайке, сыпал комплиментами: «Я сразу вас отметил. Вы сохранили еще черты настоящей женственности. Теперь женщины или какие-то обесполенные, озоженные, грозные амазонки, или размалеванные до неприличия девки, как эта ваша

циркачка, такую раньше в хороший кафешантан не пустили бы!». Из каморки обольщенной Серпинской Гумилёв вырвался под утро.

Пока Рукавишников вел свои вечера, на которых выступали ошметки Серебряного века, в комнату его супруги Нины в мезонине пробирался влюбленный словно юноша Луначарский, подписывавший свои фотографии замысловатыми надписями типа «От короля духов» или «Царь магов». Да, вкусы у Гумилёва и Луначарского не совпадали. К тому же от соседства с Анатолием Васильевичем во Дворце Искусств по мнению Белого было мало проку: «Публика — сера, малокультурна сравнительно с Петроградом; всюду — Луначарский, который говорит много, красиво, с успехом на какие угодно темы...» И все же во дворце было тепло, Рукавишников в краткие периоды отрезвления где-то доставал дрова, которыми отапливались помещения, дабы народ не сидел в шубах и пальто, чувствовал себя, как дома или у гостеприимных друзей.

Не ушел от настойчивого внимания женского населения дворца и молодой пролетарский писатель, опьяненный нахлынувшим успехом, весь в коже и с портфелем — «высокий детина с рыжими кудрями, несмотря на вид ушкуйника или анархиста /.../ он оказался очень увлекательным для девушек. Радостно вытаскивали они кульки и свертки с винами и закусками и уводили ушкуйника с приятелями в боковой жилой флигелек, где можно было расположиться как угодно». Под писателем имеется в виду Борис Пильняк — активно издававшийся литератор, «родившийся в революции», как его представлял Западу Луначарский. Как говорил о нем Чуковский, «он вообще чувствует себя победителем жизни — умнейшим и пройдошливейшим человеком». Пильняка в эти годы охотнее отпускали в Европу — производить благоприятное впечатление как официального советского писателя, автора нашумевшего романа «Голый год». А в 1924 году его лично цитировал товарищ Сталин. Заявлялся Пильняк на Поварскую обычно под вечер, на автомобиле¹.

Помимо известного Пильняка, увековечившего дворец в романе «Иван да Марья», прибились к литкоммуне и деятели меньшего масштаба — поэты Кисин, Александровский, Дир Туманный (он же Николай Панов), Томсон, Д.Кузнецов, будущий кинорежиссер Эсфирь Шуб — «с матовым, бледным лицом, неподвижно покачивающаяся, как загипнотизированная красивая кобра, готовая прыгнуть на покоренную жертву». Шуб — секретарь Мейерхольда в Наркомпросе — станет крупнейшим мастером документального кино, участвуя в съемках первых советских кинолент, в том числе «Проститутка», «Остров юных пионеров» и «Падение династии Романовых».

На вечерах (поэтам выделили понедельник и пятницу) выступали Пастернак, Брюсов, Илья Эренбург, Анатолий Мариенгоф, Павел Антокольский. Приходил обедать и Алексей Ремизов с женой. Ремизов столовался во дворце осенью 1920 года незадолго до эмиграции в 1921 году, ему даже купили за счет дворца обратный билет до Петрограда, о чем свидетельствует сохранившаяся в архиве расписка. Страстный поклонник дарвиновской теории, Ремизов провозгласил себя главой «Обезьяньей великой и вольной палаты» — Обезвелволпала. Рукавишникову он пожаловал в 1920 году обезьяний знак I степени с бобровыми хвостами и печать поставил. Надо полагать, Рукавишников после очередного возлияния мог поверить во что угодно, даже в происхождение от обезьяны. Подарок пришелся ко дворцу.

Однажды появился на Поварской и «Председатель Земного Шара» Велимир Хлебников, как известно, не нуждавшийся в каком-либо комфорте в принципе

¹ «Пильняк — это новая советская богема, вывезенные японки и автомобили, дома, кутежи, немислимый для советского гражданина разброс маршрутов: Англия, Греция, Китай, Турция, Палестина, США, Япония. По России он передвигался не менее широко и стремительно, он побывал даже на Шпицбергене...» (С.Боровиков. В русском жанре // Вопросы литературы. 2001, № 2).

(богема!). «Он был молод и безмолвен. Разговаривал он — и то тихо — с одним Рукавишниковым, — вспоминала Эсфирь Шуб. — Я знала от Ивана Сергеевича, что под одеждой Хлебников носит вериги. Как говорили, он не мылся и не причесывал выросших без стрижки пепельных волос. Глаза его тоже были застывшим пеплом. Он мог часами сидеть в венецианской комнате, у двери, открытой на балкон, не произнося ни слова. Спал он, не раздеваясь, на больших подушках, крытых старинной парчой. Затем он исчез. Рукавишников скучал без него, ждал его возвращения». Ну что здесь скажешь — парчу жалко!

Старая дева графиня Елена Фёдоровна Соллогуб и ее экономка Дарья Трофимовна уживались во дворце прекрасно. Дарья Трофимовна заведовала столовой в подвале — бывшей трапезной со сводами, а летом распорядилась во дворе, обустроенном на манер итальянского патио с опутавшим все диким виноградом. Бывшая графская экономка, сообщает давала торжественно порции чечевичного супа с воблой и пшеничную кашу». Ее тоже бывшая хозяйка непременно заявлялась на обед с серебряным судком, унося все с собой: «ходила она обношенная, в рваных перчатках, в стоптанных туфлях на веревочных подметках».

В один прекрасный день старушка за обедом не пришла. Оказалось, ее ночью забрали в «ЧеКу» (словечко тех времен): в усадьбе нашли те самые несметные богатства, о которых рассказывал Рукавишников, в том числе запасы изъеденного молью шелка и мехов, шестьдесят пар (!) импортных женских шелковых чулок и кучу обуви. Истинные ценности нашли в домовом храме усадьбы — золотые и серебряные изделия. Графиню отправили на исправление в концлагерь под Москвой, но тогда это был почти санаторий по сравнению с позднейшими учреждениями ГУЛАГа. Графиня на свежем воздухе поправилась, посвежела, привозила гостинцы экономке (ее отпускали из лагеря домой два раза в неделю).

Во Дворце Искусств жили и свои художники, например, Николай Вышеславцев, создатель галереи графических портретов фигур Серебряного века — Андрея Белого, Вяч. Иванова, Павла Флоренского, Ходасевича, Густава Шпета, Цветаевой. По окончании в Москве художественной студии И.И.Машкова с 1908 по 1914 год Вышеславцев жил в Италии и во Франции. Участник Первой мировой войны, он был ранен, контужен, стал заикаться. В 1920 году во дворце прошла его выставка, на которую пришли и герои его полотен. «Надо прежде всего делать свое дело, — повторял художник, — притом возможно лучше для самого себя делать... а сделаешь хорошо для себя — смотришь, и для других получилось неплохо». Книголюб Вышеславцев был оформлен во дворце библиотекарем и по совместительству раздавал хлеб его членам. Главное было не опаздывать к раздаче — педантичный заика Вышеславцев был строг. Но даже опоздавших женщин он очаровывал: «Молчаливый, замкнутый, рассудочный и культурный, с непроницаемым выражением светлых зеленоватых глаз и подобранного тонкого рта, он не тратил „зря“ время на болтовню во время общей еды или „чаев“ на очередных вечерах», — пишет Серпинская. Не скрывала чувств и Цветаева, познакомившаяся с ним весной 1920 года: «Это единственный человек, которого я чувствую выше себя, кроме С.» Под буквой С. скрывался муж Сергей Эфрон, воевавший в это время с большевиками. Цветаева посвятила Вышеславцеву 27 стихотворений, а он оформил обложку сборника ее стихов «Версты» в 1922 году. А позировала ему все равно Серпинская, с которой он расплачивался хлебом.

Вообще же Дворец Искусств напоминает сказочный гриб, под которым искали спасение от дождя лесные жители — зайчик, лягушка, муравей и прочие. Гриб не такой уж и большой (он в итоге вырос), но дающий приют всем, кто в нем нуждался. Как бы ни относились друг к другу постояльцы дворца, все они регулярно собирались за обедом в подвале, в котором пахло средневековым: «Низкие сводчатые темные потолки, деревянные широкие столы, скамьи, огромная плита, но закройте глаза и вы увидите очаг, там на вертеле жарится туша быка, а за маленьким, над землей, окном

лондонский туман», — вспоминала участница трапез Марина Миллиоти. Обед состоял из пшенной каши, постного борща, восьмушки хлеба с соломой и воблы, главного деликатеса времен военного (да и просто) коммунизма. Интересно, что талоны на обеды раздавал... священник в лиловой рясе, синеглазый и кроткий.

Но откуда же здесь, в литературно-богемной коммуне, под одной крышей с Луначарским, взялся русский поп? Это каким-то чудом уцелевший отец Александр Богданов, служивший в домовом храме усадьбы Соллогубов. Про Богданова — московскую знаменитость — говорили, что он изгоняет бесов, заставляя паству каждый день принимать причастие, но «уж слишком быстро и нервно бегаёт вокруг престола над чашей — точно скачет: соблазн!» Среди адептов Богданова был философ и переводчик Григорий Рачинский — фигура интереснейшая: «Дымя папирасой, захлебываясь, целыми страницами гремел по-славянски из Ветхого завета, перебивал себя немецкими строфами Гёте, и вдруг размашисто перекрестясь, перебивал Гёте великолепными стихирами (знал службы назубок)», — вспоминала поэтесса Евгения Герцык. В 1919 году его арестовали первый раз как организатора Союза объединённых приходов г. Москвы, но освободили по причине невменяемости (богемная шизофрения!). Видимо, после ареста он и появился во дворце. Один из бывших студентов Рачинского — Н.Н. Вильям-Вильмонт вспоминал его «барский шепелявый голос, дворянски-простонародные "туды-сюды", "аглицкой породы", его старомодное острословие..., загробные "бывалоча у Фета", "моя тетка, жена известного поэта Баратынского"...»

Тем временем, получив от отца Александра талончик на обед, все рассаживались, в том числе бывшая соллогубовская челядь (куда же их девать!) — повариха, дворник, горничная, кучер, сапожник, а еще всякого рода приبلудившиеся «бывшие люди»: старуха-француженка, такого же возраста графиня Коновницына, граф Шереметев с купчихой-миллионершей Красильщиковой. И все с одними и теми же аксессуарами: «кастрюлищи, кастрюльки, кастрюли — все заполнено борщом, воблой, там же и каша. Все это понесется домой, семье, знакомым, чтобы не истратить своего, лишнего и глубже запрятать фамильные ценности».

А вот еще одна странная пара к обеду: «Она — тонкое, профилеобразное, дохлое существо на спичках вместо ног. Он — высокий, скуластый, с глазами рыси». Это Валерий Брюсов и Адалис. Сидящая за столом актриса Малого театра Варвара Массалитинова комментирует: «Адалис, Адалис, кому вы отдались...» Адалис — поэтесса и переводчица Аделина Адалис, она же урожденная Аделина Алексеевна Висковатова, она же Аделина Ефимовна Ефрон (Эфрон). Последняя любовь Брюсова, Адалис, тяжело переживала его кончину в 1924 году. Позже, как и многие талантливые советские поэты, она нашла пристанище в переводах среднеазиатских авторов, за что удостоилась ордена Знак Почета в 1939 году. Самым известным ее переводом стало стихотворение из романа Рабиндраната Тагора «Последняя поэма», положенное на музыку Алексеем Рыбниковым и прозвучавшее в фильме «Вам и не снилось...» в 1981 году. Но ровесница века Адалис фантастической популярности своего перевода не застала, скончавшись в 1969 году.

Под конец трапезы пришли Пильняк и опекавший его Ремизов с женой. Считавший Пильняка малоразвитым, он занимался «окультуриванием» этого нового советского писателя. А вечером — концерт мастеров искусств. Во дворце устраивались не только концерты, но и спектакли, крутили кино, работали научные и художественные курсы, где преподавали видные ученые и деятели искусств. Например, курс «Северная литература» читал Юрий Айхенвальд, «Немецкую литературу XVIII века» читал Рачинский, «Семинарий по искусству живописи» вел Юон. Слушатели курсов сдавали экзамены и зачеты. А 18 мая 1920 года во дворце на Поварской торжественно открылась 1-я выставка картин, рисунков и скульптуры Дворца Искусств, в которой участвовали

42 художника и экспонировалось 217 произведений — Сергея Герасимова, Сергея Конёнкова, Маргариты Сабашниковой, Шереметьева, Юона...

9 февраля 1921 года Дворец Искусств был закрыт «ввиду несоответствия деятельности задачам Наркомпроса и неоднократного нарушения отчетного порядка». Не давалась Рукавишникову отчетность и прочая бюрократия! Здесь вспоминается характеристика, данная Маяковским, не любившим выступать в этом богемном оазисе, — Дворец Паскудства. Вместо дворца на Поварской открылось вполне приличное заведение — Высший литературно-художественный институт во главе с ректором Брюсовым, где учились Михаил Светлов, Елена Благинина, Артем Весёлый и другие. Наконец, в 1932 году усадьбу отдали в распоряжение вновь созданному Союзу писателей СССР, где бывали, пожалуй, все мало-мальски известные советские литераторы. В 1940 году здесь прощались с Михаилом Булгаковым.

И все же польза от Дворца Искусств очевидна, многим он помог выжить. Не зря известный музыковед и журналист Леонид Сабанеев, эмигрировавший в 1926 году и доживший во Франции до 86 лет (умер в 1968 году), прекрасно знавший богему дореволюционную, в своих «Воспоминаниях о России» пишет, что богемный стиль «перекочевал в некоторые учреждения, организованные уже советской властью, — в частности во Дворец искусств, но в несколько сморщенном и приbedненном стиле. При большевиках артисты имели верного друга в лице наркома Луначарского, который сам был, в сущности, артистической богемой».

Примечательно, что у многих упомянутых действующих лиц, будь то Цветаева или Пильняк, дальнейшая судьба сложилась печально, как и у Рукавишникова: первое время он преподавал в институте у Брюсова, чему явно мешал его алкоголизм — от него всегда пахло водкой. Незадолго до его смерти в 1930 году бывший студент Борис Голицын встретил своего опустившегося преподавателя в трамвае: «Была осень, шел дождь. Только трамвай тронулся от остановки, как на ходу, держась за поручни, попытался в него взобраться кто-то в мятой шляпе, в рваном мушкетерском плаще. По длинной бороде-мочалке и по всклокоченным кудрям я узнал Рукавишникова». Подоспевшая кондукторша выкинула поэта на улицу, он упал. Похоронен Рукавишников на Ваганьковском кладбище вместе с братом Митрофаном, основателем династии скульпторов (его внук — автор огромного примуса, что должен был стоять на Патриарших в честь Булгакова; это как раз тот случай, когда скульптора долго будут помнить по неосуществленному замыслу).

Первая творческая коммуна большевистской Москвы — Дворец Искусств — не прожил и двух лет, но сколько воспоминаний оставил он у современников. Как огромный корабль отчалил он от советской пристани, унеся с собою богемную атмосферу, в которой умудрялись сосуществовать личности самого разного пошиба, и «новые», и «бывшие», и те, кто ни при каких обстоятельствах не признал бы новую власть. Конечно, творческая жизнь в Москве не исчерпывалась одним лишь дворцом. Шумел своими диспутами Политехнический музей, работали книжные лавки писателей, где за прилавками стояли сами авторы — Осоргин, Ходасевич, Телешов, Есенин. В марте 1920 года открылся Дом печати на Никитском бульваре, Маяковский называл его «Домом скучати» и пытался как мог эту скуку развеять. Так, в феврале 1922 года во время литературного аукциона в помощь голодающим Поволжья поэт заявил, что лишь тот сможет выйти из Дома печати, кто внесет свою лепту в адрес голодающих.

Все это пока внушало оптимизм. Дух нового, многообещающего искусства бередел душу и пьянил, о чем в 1921 году написал критик Сергей Третьяков: «Жадно пьются полуневидные сбитые строки московских газет — репертуар театров, народных домов и мест с такими названиями, как “Дворец Искусств”, “Дом Печати” и т. п. Вечера лирики, чтение новых произведений и дебаты по ним, споры и диспуты об эстетических идеях и верованиях — ведь это же та атмосфера центрального плавильного тигля, где в калении животворящих антагонизмов заостряются души и перья для рожденья новых слов и где аудитория — опять те же “все”, а не одни только “эстетические дамы и снисходительные мэтры” стихотворных гостиных прежнего

времени! Хочется учуять обстановку, в которой протекает эта ежедневная работа, этот непрерывный турнир искусств». Пройдет немного времени, и многообещающая творческая атмосфера испарится, а богема превратится в творческую интеллигенцию.

В дальнейшем коммуна как форма жизни приобрела необычайное распространение у советских писателей, которые существовали по единому принципу: вместе не только жили в своих жилищных кооперативах и отдыхали в многочисленных домах творчества, но и лечились в своих же поликлиниках, воспитывали детей в своих детских садах, получали дефицитные продукты в своих «столах заказов» и т.д., и т.п. В общем, обитали коллективно и в то же время обособленно от народа, для которого они создавали свои нетленные произведения. Ибо на весь народ, строящий коммунизм, комфорта и удобств не хватало, а вот на содержание узкой социальной творческой прослойки немного наскребли....

«Кафейный период» русской литературы

Еще одной формой богемного времяпрепровождения в 1920-е годы были литературные кафе, что позволило назвать это время «кафейным периодом русской литературы», когда публичное чтение стихов заменило книги и давало хоть какую-то возможность прокормиться. В Москве самым скандальным считалось «Кафе футуристов», обосновавшееся с осени 1917 года в бывшей прачечной в Настасьинском переулке в доме 52/1. Меценатом выступил сын «того самого» булочника и поэт-графоман Николай Филиппов, а основателями и оформителями — футуристы во главе с Василием Каменским. К оформлению кафе привлекли художницу Валентину Ходасевич. Давид Бурлюк украсил кафе вывеской своего собственного сочинения: «Мне нравится беременный мужчина».

Личность Давида Давидовича Бурлюка достаточно интересна и многогранна. Уже одни только скупые даты жизни вызывают немалый интерес: родился в 1882 году на хуторе Семиротовщина Лебединского уезда Харьковской губернии, скончался в 1967 году в американском Лонг-Айленде. Трудно одним словом охарактеризовать личность и профессию Бурлюка. Он был организатором журналов и выставок, писал картины, манифесты, стихи, критические статьи и прочее. Бурлюк являлся и одним из основателей объединений «Бубновый валет» и «Гилея». В 1912 году его манифест «Пощечина художественному вкусу» имел большой общественный резонанс и явил миру еще одно качество Бурлюка, позволившее называть его идеологом русского авангарда.

Ближе всего Бурлюк стоял к футуристам. Он и сам, можно сказать, выглядел неординарно. Выдвинув в качестве своего девиза фразу: «Надо ненавидеть формы, существовавшие до нас!», он стал носить яркую клоунскую одежду, да еще и рисовал у себя на щеке маленьких лошадок. Но это не значит, что всю свою жизнь он исповедовал принципы одного художественного течения. Искусствоведы угадывают в его картинах и черты импрессионистов, встречаются также примитивистские мотивы. В 1920-е годы Бурлюка увлек конструктивизм. А в иные времена и реализм оказывал на него не меньшее влияние.

Посетители описывают занятный дизайн кафе футуристов: «Длинная низкая комната, в которой раньше помещалась прачечная. "Как неуклюжая шкатулка, тугой работы кустика". Земляной пол усыпан опилками. Посреди деревянный стол. Такие же кухонные столы у стен. Столы покрыты серыми кустарными скатертями. Вместо стульев низкие табуретки... Комната упиралась в эстраду. Грубо сколоченные дощатые подмостки. В потолок ввинчена лампочка. Сбоку маленькое пианино. Сзади — фон оранжевой стены». Стену обозначали нарисованные на ней огромный багровый слон, женские бюсты, крупы лошадей и призывы типа: «Доите изнуренных жаб» и «Голубицы, управляйте свои перышки».

Народ собирался после окончания спектаклей: «Буржуи, дотрачивающие средства, анархисты, актеры, работники цирка, художники, интеллигенты всех мастей и профессий. Многие появлялись тут каждый вечер, образуя твердый кадр «болельщиков». С добросовестным, неослабевающим упорством просиживали от открытия до конца». Программа вечеров включала в себя исполнение романсов, чтение стихов (Маяковский читал здесь «Человека», Каменский — поэму «Стенька Разин — сердце народное»), пение Вертинского, испанские танцы. Как-то после разгона Учредительного собрания в кафе протиснулись его агитаторы-студенты с газетами, Бурлюк купил их все оптом, а затем, поднявшись на сцену, стал топтать их со словами: «Мы не станем поддерживать мертвецов!» Весной 1918-го кафе закрылось.

У Страстной площади (на Тверской, 37) в 1919—1922 годах собирались иماجинисты с Есениным, Мариенгофом, Рюриком Ивневым. Свое кафе они назвали «Стоило Пегаса». Георгий Якулов — по прозвищу «Жорж Великолепный» — разукрасил ультрамариновые стены обликами иماجинистов и голых женщин с глазом на животе: «Посмотрите: у женщин третий Вылупляется глаз из пупа». Соответствующие надписи украшали и другие «картинки». Сам художник, как вспоминал современник, одевался в штатский костюм с брюками-галифе, заправленными в желтые сапоги-краги, напоминая циркового наездника. Он очень расстроился, узнав, что пожарная охрана запретила ему повесить под потолком кафе красные фонари.

Завсегдатаи богемного кафе делились на «несерьезных», т.е. самих поэтов, и «серьезных» — людей с деньгами (часто из криминала), делавших кассу буфету. Есенин не любил, когда «серьезные» мешали читать стихи: «Однажды один посетитель громко говорил что-то своей рыжеволосой спутнице, заглушая выступавшего тогда со своими стихами Рюрика Ивнева. Тогда Сергей Есенин подошел к говорившему и со словами: “Милости прошу со мной!” — взял того за нос и цепко держа его в двух пальцах, неторопливо повел к выходу через весь зал. Посетители замерли от восторга, дамочка истерически визжала, а швейцар шикарно распахнул дверь. После этого от “недорезанных буржуев” в кафе отбоя не было, вероятно, и они мечтали о таком триумфальном шествии через зал», — запомнил Мариенгоф.

Есенин поднимал бокалы с шампанским, говорил тосты, Шершеневич каламбурил («Поэзия без образа — безобразие»), молодые официантки — только девушки — разносили по столикам снесь. «Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики. Румынский оркестр. Эстрада... С одной из стен бросались в глаза золотые завитки волос и неестественно искаженное левыми уклонами живописца лицо Есенина в надписях: «Плюйся, ветер, охалками листьев»», — вспоминал иماجинист Иван Старцев.

Вышвырнутые Есениным «недорезанные буржуи» могли направить свои стопы в другое кафе поэтов — «Домино». Оно находилось совсем рядом, на Тверской: «Можно славно развлекаться в доме № 18». Чтобы не путать с другими кафе, его прозвали «Союз поэтов», сокращенно «СОПО» или «Сопатка». Прачечной здесь не было, зато на втором этаже существовала лечебница для душевнобольных. Руководил «Домино» деловой человек, спекулянт и шулер Афанасий Нестеренко. Стихов он не любил, а поэтов терпел, потому что они приносили ему хорошую выручку чтением своих произведений, на которые специально шла всякого рода публика, так называемые «вольные». Есенина выделял среди других, напророчив ему «плохой конец». Если вечер удавался, Нестеренко кормил поэтов за свой счет, вот почему «Домино» так любила нищая богема, питавшаяся здесь пирожными из настоящей белой муки, а не из моркови. Нестеренко как-то пошутил, что когда на сцене скучный докладчик, то докладывать деньги в кассу приходится ему лично, тысяч сто, не меньше. К сожалению для поэтов, Нестеренко в 1918 году был убит водопроводчиком, который среди ночи потребовал от него водки.

Кафе состояло из двух залов с маленькими столиками, выполнявшими функции витрин — на них под стеклами лежали рисунки, шаржи, листки со стихами, соответ-

ственно, любой мог посмотреть. Художник Юрий Анненков в первом зале, стены которого разрисовали портретами Брюсова и Бальмонта, повесил пустую птичью клетку, а во втором старые черные штаны Каменского — именно они и запомнились многим, более того, штанам некоторые поэты посвятили стихи. Рифмы были здесь повсюду, например, на отштукатуренной стене:

Будем помнить солнце Стеньку,
Мы от Стеньки, Стеньки кость.
И пока горяч кистень, куй,
Чтоб звенела молодость!!!

Цветным был и зелено-красный занавес с какими-то геометрическими фигурками, закрывавший деревянную трибуну — вышку в форме усеченной пирамиды с площадкой, на которую залезали поэты. В частности, Каменский «медленно-медленно взбирался и садился на площадку. Некоторое время он сидел в оцепенении, а когда это уже начинало надоедать публике, он приступал к чтению стихов». В «Домино» приходили Евгений Габрилович, Сергей Городецкий, Иван Грузинов, Николай Клюев, Луначарский, Мейерхольд, Пастернак, Рукавишников, Цветаева, Шкловский и даже Яков Блюмкин, убивший германского посла Мирбаха в 1918 году.

Поведение Есенина делало его одной из главных фигур литературно-богемной Москвы. Он не стеснялся ничего и никого. В январе 1920 года поэт вышел на эстраду и вместо ожидаемых от него стихов вдруг сказал: "Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к ... матери! Спекулянты и шарлатаны!" Что тут началось — публика в зале вскочила с мест, «кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывали „чеку“». Нас задержали часов до трех ночи для проверки документов. Есенин, всё так же улыбаясь, веселый и взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоняя голову „бычком“ (поза дерущегося деревенского парня), странно, как-то по-ребячески морщил брови и оттопыривал красные, сочные красивые губы. Он был доволен, — описывает произошедшее поэт-пролеткультовец Николай Полетаев.

На Есенина было заведено дело № 10055, следователь Московской ЧК товарищ А.Рекстынь (это женщина) сообщила: «Мне удалось установить из проверки документов публики, что кафе посещается лицами, ищущими скандальных выступлений против Советской власти, любителями грязных безнравственных выражений и т.д. И поэты, именующие себя футуристами и имажинистами, не жалеют слов и сравнений, нередко настолько нецензурных и грубых, что в печати недопустимых, оскорбляющих нравственное чувство, напоминающих о кабаках самого низкого свойства... «Единственная мера, возможная в отношении к данному кафе, — это скорейшее его закрытие». Дело на Есенина было передано в Народный суд.

Уже после закрытия «Домино» в 1925 году на Кузнецком мосту возникло кафе имажинистов «Мышиная нора», оформленное Борисом Эрдманом (братом драматурга). Читали стихи здесь по понедельникам, вечерами. В целях увеличения сборов имажинисты арендовали кинотеатр «Лилипут», где также проходили выступления, впрочем, не дававшие больших доходов.

Имажинисты вообще были очень деловые ребята: прижмешь их в одном месте, они вылезут на поверхность в другом. Отметим их и в кафе «Калоша», разместившемся в 1924 году не где-нибудь, а в гостинице «Метрополь», превращенной большевиками во 2-й дом Советов. Здесь было два этажа, первый для артистов, второй для поэтов. На первом витийствовал Михаил Гаркави, представлявший эстрадные номера. Публика повалила, многим хотелось попробовать имажинистов на зуб: в буфете предлагали ростбиф а-ля Мариенгоф, расстегай а-ля Рюрик Ивнев и борщ имени Шершеневича. Именные блюда пользовались огромным спросом, иногда самих себя «поглощали» и сами герои кафешных вечеров.

Привлекали богему и другие литературные кафе. «Питтореск» (оно же «Мировой

вокзал искусств» и «Красный петух») на Кузнецком мосту, оформленное Якуловым, где в мае 1918 года Маяковский провел вечер «Мой май», «Кафе поэтов на Петровке», «Десятая муза» в Камергерском переулке, «Альпийская роза» на Пушкинской улице. У журналистов было свое кафе в Столешниковом переулке.

Ну а что же по этому поводу думали петроградские поэты, где такого числа богемных кафе просто не было? Они ужасались происходящему. Вот что рассказывал пролетарский поэт Д.М.Мазнин (подписавшийся «Арсений Гранин») в «Красной газете» в мае 1918 года: «Нас, приехавших на всероссийский съезд пролетарских писателей, очень и очень заинтриговали слухи о знаменитом „Кафе поэтов“ на Тверской. Вечером, в день приезда в Москву, мы отправились в это учреждение, чтобы на месте обстоятельно познакомиться с ним. Вошли в полутемное зальце с небольшой эстрадой, и сразу меня поразило одно странное в наши дни явление: в смежной с залом комнате, ярко освещенной многочисленными электрическими лампочками, за столиками сидели в самых непринужденных позах франты и расфранченные подкрашенные девицы, с увлечением что-то уплетывая. Все остатки умершей буржуазии, все сливки бывлой золотой молодежи собрались тут. В этот день должен был быть вечер „экспрессионистов“ — каких-то новых, неизвестных миру поэтов.

С докладом о новорожденном течении в поэзии выступил некто Соколов. Докладец вышел забавным. Оратора на каждом слове прерывали самыми невероятными и плоскими шутками. В этом, очевидно, и заключалась вся соль кафе, и тщетно надрывался оратор, перекрикивая и ругаясь с хулиганствующими франтами в публике — он доклада так и не кончил. На эстраду вступил поэт-имажинист С.Есенин и с самыми чудовищными кривляниями и уродствами прочел свои стихи. Соколов после него прерывающимся голосом завопил:

— Вот теперь вы видите превосходно, как Есенин ворует, да, ворует образы и содержание и всё — у Клюева, у Орешина и у прочих поэтов. Он скоро умрет как поэт...

Есенин, нервными толчками поднимаясь на эстраду, более или менее спокойно говорит:

— У меня есть имя, литературный стаж и достоинство.

Размахивается, и звонкая пощечина оглашает зал. Публика орет, неистовствует. Скандал разгорелся вовсю. С чувством брезгливости мы вышли на свежий воздух из чудовищно-преступного дома, где таким скандальным апофеозом заканчивает свою роль буржуазия».

Мордобой в кафе даже стал темой обсуждения в Наркомпросе, заведующий музыкальным отделом которого А.С.Лурье сделал доклад о литературной богеме, где в качестве характерного примера привел этот инцидент. Сергея Александровича в итоге исключили из числа президиума Всероссийского союза поэтов, что вряд ли убавило ему популярности.

Есенина, которого можно назвать главным аккумулятором богемной жизни 1920-х годов, не стало в 1925 году, не случайно, что вскоре закончился и «кафейный» период русской культуры. В конце концов, писатели отъелись, приоделись и приобрели солидный, полагающийся советским творческим деятелям вид, и начался «ресторанный» период. Есть дома им не полагалось, они ведь не рабочий люд.

Один из первых творческих ресторанов открылся в 1925 году в так называемом Доме Герцена (ныне здесь Литературный институт им.Горького), где с 1920 года поселилась Российская ассоциация пролетарских писателей. Ресторан этот теперь уж никогда не исчезнет в анналах истории благодаря кушавшему здесь Михаилу Булгакову, запечатлевшему его меню и интерьер в романе «Мастер и Маргарита» (смотри главу «Было дело в Грибоедове»). Что же до писательской организации и ее алчных членов, то их Михаил Афанасьевич обессмертил в Массолите.

Безалаберные литераторы, которым как-то нужно было восполнять силы, потраченные в процессе поиска вдохновения и дальнейшего творчества, тратили на Тверском бульваре кровно заработанные гонорары. Юрий Олеша вспоминал: «При-

хожу в Дом Герцена часа в четыре. Деньги у меня водятся. Авторские за пьесу. Подхожу к буфету. Мне нравятся стаканчики, именуемые лафитниками. Такая посудинка особенно аппетитно наполняется водкой. Два рубля стоит. На буфете закуска. Кильки, сардинки, мисочка с картофельным салатом, маринованные грибы. Выпиваю стаканчик. Крякаю, даже как-то рукой взмахиваю. Съедаю гриб величиной в избу. Волшебно зелен лук. Отхожу. Сажусь к столу. Заказываю эскалоп. Собирается компания. Мне стаканчика достаточно. Я взбодрен. Я говорю: «Литература окончилась в 1931 году».

Почему в 1931-м? С началом 1930-х годов началось ужесточение государственной политики в области творческих союзов, закончившееся образованием большого и единого Союза писателей СССР в 1934 году. Литература закончилась — а водка осталась, что и спасло Олешу. Любовь советских писателей к ресторанам стала притчей во языцех, ну а самым любимым стал для многих ресторан Центрального дома литераторов, открытого в 1934 году.

Литературная богема в светских салонах советской Москвы

Традиция богемных салонов была широко распространена в XIX веке в обеих российских столицах — и в Москве, и в Петербурге. Примечательно, что хозяйками светских сборищ выступали преимущественно особы прекрасного пола, до сих пор на слуху их имена — Зинаида Волконская, Долли Фикельмон, Авдотья Елагина, Екатерина Карамзина. Светская беседа, чтение стихов приглашенными знаменитыми поэтами, музицирование, танцы и увеселения, шарады, живые картины — все то, что Пушкин назвал «играми Аполлона», — составляло содержательную часть собраний лучшей части общества.

Казалось бы, отмена сословных ограничений большевиками в 1917 году должна была похоронить и саму идею салонного досуга, ибо обобществление всего и вся как-то не подразумевало существования салонов как места встречи избранного круга людей. Победивший пролетариат, расселенный по подвалам и коммуналкам, культурно отдыхал опять же не в закрытых для чужого глаза домах, а на миру — в клубах и парках культуры, и не под руководством амбициозных светских дам, а под приглядом массовиков-затейников. Однако наркомы большевистского правительства как-то не горели желанием вместе с массами предаваться салонному общению, стараясь укрыться в национализированных комфортабельных квартирах. Пример подавал морально неустойчивый Анатолий Васильевич Луначарский, которого так и тянуло запросто общаться с писателями в домашней обстановке.

В 1924 году Луначарский приискал себе новое скромное жилье в Денежном переулке — на пятом этаже, причем квартира была под № 1, что означало следующее: владельцы доходного дома (зажиточная до 1917 года семья Бройдо) предназначали этот двухуровневый семикомнатный пентхауз для себя лично. Выбор наркома очевиден — богема и должна жить на чердаке, в крайнем случае в мансарде, как на Монмартре.

Интеллигентный большевик Луначарский решил особо не церемониться с прежними жильцами, коими оказалась библиотека Неофилологического института Москвы. Библиотекой руководила Маргарита Рудомино, ставшая свидетельницей исторического визита. День этот запомнился на всю жизнь, а как иначе — вся страна скорбит по поводу кончины Ленина, которого только вчера похоронили, но, видно, товарищу Луначарскому было не до траура: «На следующий день после похорон Ленина, совершенно неожиданно к нам в Библиотеку пришел нарком просвещения А.В.Луначарский со свитой, которую возглавлял управляющий делами Наркомпроса Ю.Н.Ган. Луначарский, входя, не поздоровался, уходя, не попрощался со мной. Он осмотрел помещение Библиотеки на 5-м этаже и в мансарде, оно ему понравилось, и он сказал Гану: «Хорошо. Я беру». Повернулся и пошел из квартиры. Свита за ним.

Когда я услышала слова: “Я беру”, то поняла, что нас будут выселять. У меня, конечно, страшно забилось сердце, я безумно испугалась».

Вот ведь интеллигенция слабонервная какая — сразу сердце забилось, и с чего собственно? Ведь не в «ЧеКу» же увезли, а всего лишь помещение отобрали. Радоваться надо. Но согласитесь, какой странный нарком просвещения — не поздоровался, даже «до свиданья» не сказал. Библиотеку, конечно, выселили. И начались здесь бесконечные собрания богемы, хозяйкой салона стала наркомша Наталья Розенель — одна из первых светских дам Москвы, претендовавшая на лавры Зинаиды Волконской.

Кто только не карабкался на пятый этаж, чтобы скоротать вечерок-другой в гостеприимном доме Луначарских: Пастернак, Мейерхольд, Николай Эрдман, Алексей Толстой, Маяковский, Кольцов, Иосиф Уткин, Илья Сельвинский, Вера Инбер, певцы, артисты, художники, кинорежиссеры. Культурная среда разбавлялась политиками — приходили Федор Раскольников, Максим Литвинов, будущие маршалы Семён Будённый и Александр Егоров (до ареста, естественно).

«Трудно передать впечатления от вечеров, проведенных у Луначарских за время 1925–1933 годов. Припоминаю и семейные торжества, и традиционные новогодние вечера, литературные и музыкальные собрания, чтение новых пьес, выступления поэтов, желавших прежде всего ознакомить Анатолия Васильевича со своими новыми детищами», — тактично вспоминал соавтор Луначарского по переводам Александр Дейч, кстати, фигура странная — несмотря на близость к наркому его не посадили. Маяковский читал здесь поэму «Хорошо!» — пишет Дейч. Маяковского было так много и везде, что какой адрес в Москве ни возьми, связанный с тем или иным известным именем, — он и там читал. Хотя другие поэты, к примеру, Пастернак, не стремились читать так много и часто.

В Денежный приходили иностранцы — приезжавшие из-за рубежа писатели и вообще какие-то непонятные личности вроде Воланда. Порою Луначарский не мог понять — кто перед ним находится, спрашивал жену: «А это кто?» В ответ Розенель пожимала плечами — мало ли кого опять занесло в гостеприимную квартиру наркома! А квартира, надо сказать, была необычно спроектирована, центром ее служила обширная двухэтажная гостиная с камином и роялем, а также с галереей-библиотекой. На стенах — картины. Огромная столовая вмещала порядка сорока человек гостей. Для более камерных встреч предназначалась малая гостиная. В кабинете наркома — письменный стол, заваленный книгами и бумагами. Здесь же кремлевская «вертушка». Салонная жизнь в квартире Луначарского была ключом и после того, как Анатолий Васильевич перестал быть наркомом в 1929 году.

Пока муж — большой чиновник — на работе, его жена принимает гостей. Еще один салон возник благодаря писательнице Галине Серебряковой, супруге наркома финансов Григория Сокольников (до него она была замужем за замнаркомом Леонидом Серебряковым). Уроженка Киева Серебрякова происходила из семьи революционеров, в партию вступила чуть ли не в 15 лет, еще в девичестве; как могла, приближала «наш последний и решительный бой». После 1917 года часто выезжала за границу. От природы Серебрякова обладала хорошим голосом, в 1920-е годы ее даже звали в Большой театр, хотя училась она на медицинском факультете МГУ, занималась журналистикой, книги писала в основном на революционные темы: «Женщины эпохи французской революции», «Юность Маркса» и т.п.

Серебрякова жила в номенклатурном доме в Романовом переулке — в советское время переименованном в улицу Грановского. Ее соседями были первые советские маршалы и члены Политбюро, которых она часто приглашала на огонек, а также писатели, артисты московских театров, музыканты. Кто только ни бывал в ее квартире, «и сколь необычные часы поэзии, музыки, политических споров проходили в столовой и узеньком кабинете», — вспоминала Серебрякова. В гости приходили Бухарин, Енукидзе, Орджоникидзе, Тухачевский, Фрунзе, странным образом скончавшийся в 1925 году в больнице, Пильняк (описавший его смерть на свой лад),

Пастернак (одноклассник Сокольников по гимназии), Бабель и многие другие. Устраивались вечера, говорили о театральные премьеры, литературных новинках. Приходил и молодой Дмитрий Шостакович, имевший очень серьезное намерение переехать в Москву. Композитор буквально всеми силами стремился в столицу, в его письме от 29 февраля 1924 года к Льву Оборину, близкому другу и будущему выдающемуся музыканту, читаем: «Если будут лишние деньги, возьму 5 червонцев и приеду Москву. Один червонец в Москву, другой — назад в Питер, а три остальных на театры, концерты и выпивки. Эх, хорошо было бы». У Серебряковой он познакомился с Михаилом Тухачевским, развлекавшим завсегдатаев салона игрой на скрипке и обещавшим Шостаковичу помочь обосноваться в столице.

С переездом Сокольников и Серебряковой в Карманицкий переулок жизнь салона несколько затухла — окружение изменилось, тем не менее захаживали Бабель, Александра Коллонтай, скульптор Вера Мухина с мужем врачом Алексеем Замковым.

Салон Серебряковой, в котором общались представители советской верхушки и богема, давал возможность последней найти определенные возможности для воплощения своих творческих планов. В то же время слишком близкое общение с властью имущими могло привести и к опасным последствиям в условиях обострявшейся в Кремле политической борьбы. Однажды Серебрякова стала свидетельницей разговора в кабинете ее мужа, в котором участвовали крупные военные и партийцы. Зайдя с подносом с кофе, она услышала слова Алексея Сванидзе, брата первой жены Сталина: «Коба зарвался, надо его ликвидировать». Такие разговоры не прошли даром, Коба сам решил ликвидировать и супруга Серебряковой, и тех его единомышленников, что собирались у него на квартире.

Ее арестовали в 1936 году следом за мужем, выслали в Семипалатинск. В 1939 году приговорили к 8 годам лагерей, освободилась Серебрякова в 1945 году, работала фельдшером в Джамбуле. Через четыре года ее опять «взяли», дали «десятку» за контрреволюционную агитацию. Реабилитировали Серебрякову в 1956 году. Примечательно, что, пережив лагеря и тюрьмы и выйдя на свободу, Галина Иосифовна продолжала славить марксизм-ленинизм, сочиняя биографии Маркса и Энгельса. Но главную книгу своей жизни (она умерла в 74, скончавшись летом 1980 года) Серебрякова не увидела опубликованной, вышла она лишь в 1989 году, да и то в Алма-Ате. Это воспоминания о лагере, называются «Смерч», их полезно сегодня почитать кое-кому.

В 1936 году, в то время, когда Серебрякову допрашивали на Лубянке, в Москве возник новый богемный салон, элитный, в который были вхожи известные деятели советского искусства: неперемный Бабель, Михаил Шолохов, Михаил Кольцов, Леонид Соболев, Эйзенштейн, Соломон Михоэлс и другие. Расцвел салон в Малом Палашевском переулке (дом 4), на квартире наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, своего рода покровителя муз. Хозяйка салона — наркомша Евгения Хаятина-Ежова, трудившаяся заместителем главного редактора познавательного журнала «СССР на стройке». С Ежовым она познакомилась в 1929 году в санатории в Сочи, а вскоре стала его женой, второй по счету. Он же занял в списке ее супругов почетное и призовое третье место.

Салон пользовался большой известностью в высоких сферах, как позднее рассказывал на допросе племянник арестованного наркома, «У Ежова и его жены Евгении Соломоновны был обширный круг знакомых, с которыми они находились в приятельских отношениях и запросто их принимали в своем доме. Наиболее частыми гостями в доме Ежова были: Пятаков; быв. директор Госбанка СССР — Марьясин; быв. зав. иностранным отделом Госбанка — Сванидзе; быв. торгпред в Англии — Богомолов; редактор «Крестьянской газеты» — Урицкий Семен; Кольцов Михаил; Косарев А.В...

Жена Ежова окружала себя политически сомнительными людьми из числа артистов и журналистов, я бы сказал, богемного типа. Они окружали жену Ежова большим вниманием и часто делали ей различные дорогие подарки. Все это, насколько я мог убедиться из своих собственных наблюдений, привело Ежова и его жену к полному бытовому и моральному разложению».

На литературно-музыкальных вечерах у Ежовой читали стихи, танцевали, «морально разлагались», вкусно и обильно пили-ели за одним столом и чекисты, и их потенциальные жертвы. Впрочем, первые весьма быстро переходили во вторую категорию. Ежова играла на рояле, звучал патефон — сама она очень любила фокстрот и джаз, Леонид Утесов распевал свои знаменитые «Лимончики». Надо сказать, что Ежова была на редкость ветреной женщиной, умея расположить к себе мужчин. Среди ее любовников были Бабель, Шолохов, Кольцов, что подтверждалось наружным наблюдением и прослушкой. Самому Ежову было некогда петь и танцевать в светском обществе, он с утра до вечера разоблачал и лично расстреливал врагов народа. Приходил домой затемно, часто пьяным и запачканным кровью.

Вспоминается одна фраза, брошенная Ежовой Надежде Мандельштам: «К нам ходит Пильняк, — сказала она. — А к кому ходите вы?» Я с негодованием передала этот разговор О. М., но он успокоил меня: «Все “ходят”. Видно, иначе нельзя. И мы ходим. К Николаю Ивановичу (Бухарину. — *А.В.*)». Этот разговор мемуаристка относит к 1930 году, когда Ежов уже работал в Москве в ЦК ВКП(б). Уже тогда Ежов выступал в роли покровителя искусств, и не один Пильняк к нему ходил, а многие члены Союза писателей. Юрий Домбровский вспоминал: «Три моих следствия из четырех проходили в Алма-Ате, в Казахстане, а Ежов долго был секретарем одного из казахских обкомов (Семипалатинского). Многие из моих современников, особенно партийцев, с ним сталкивались по работе или лично. Так вот, не было ни одного, который сказал бы о нем плохо. Это был отзывчивый, гуманный, мягкий, тактичный человек... Любое неприятное личное дело он обязательно старался решить келейно, спустить на тормозах. Повторяю: это был общий отзыв. Так неужели все лгали? Ведь разговаривали мы уже после падения “кровавого карлика”. В компаниях сослуживцев он душевно пел русские народные песни, особенно любил “Ты не вейся, черный ворон...” (прямо как Чапаев. — *А.В.*). У него был хороший голос. Рассказывали, что когда-то в Петрограде профессор консерватории прослушала его и сказала: “У тебя есть голос, но нет школы. Это преодолимо. Но непреодолим твой малый рост. В опере любая партнерша будет выше тебя на голову. Пой как любитель, пой в хоре — там твое место»¹.

Ну как к такому хорошему человеку не набиться в друзья? Придешь с просьбой помочь в получении квартиры, дачи, а он еще и песню с тобой затянет, «Дубинушку». Но ведь что же получается — Ежов-то как раз и был неотъемлемой частью советской богемы 1930-х годов, к которому запросто можно было зайти почти с улицы. Утесов рассказывал, как Бабель впервые привез его на дачу к Ежову, только что ставшему наркомом НКВД. И сам загородный дом, и богатая роскошная обстановка поразили звезду «Веселых ребят» — ковры, мебель, отличный бильярд. А каков был стол, ломившийся от деликатесов: икра, балыки-шашлыки... Утесов без умолку сыпал анекдотами. Но самого маленького человечка в полувоенном френче он не узнал. «Я спросил Бабеля: “Так у кого же мы были? Кто он, человек в форме?” Но Бабель молчал загадочно». В итоге писатель выразился образно: «Когда этот человек вызывает к себе членов ЦК, то у них от этого полные штаны».

Бабель был близок с Ежовой еще до того, как она стала наркомшей, что давало ему право бывать в доме в Палашевском переулке на правах друга семьи и вводить в салон новых интересных ему и хозяйке персонажей. Но бывало, все разойдется, придет Ежов с работы, а Бабель с «Женечкой» в квартире одни. Нарком ничего и не спросит. Идет в ванную, долго золотые наркомовские руки моет, кровь смывая (хорошо его Борис Ефимов нарисовал — «Стальные ежовы рукавицы»). Потом вместе поужинают,

¹ О литературных способностях Ежова высоко отзывался уже в наше время председатель военной коллегии Верховного суда РФ А.Т.Уколов: «Помню, когда я изучал дело Ежова, меня поразило стилистическое совершенство его письменных объяснений. Если бы я не знал, что за плечами у Николая Ивановича незаконченное низшее образование, то мог бы думать, что это так складно пишет, так ловко владеет словом хорошо образованный человек».

Николай Иванович водочки выпьет, закусит, отдохнет, значит, от трудов праведных. Интересно, что и жена Бабеля Антонина Пирожкова (простой советский инженер!) не спрашивала, чего это он к Ежовым зачастил, он ведь сказал ей: «Пишу роман о чекистах, Тоня, материал собираю!» Насобираю, видно...

Ежов, как истинный друг советской богемы (разве что сам не сочинял), закрывал глаза на их враждебные замыслы. Например, в сентябре 1936 года на стол к нему лег следующий документ о содержании разговора Бабеля и Эйзенштейна в одесской гостинице. Бабель говорил о процессе над троцкистами: «Вы не представляете себе и не даёте себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории. Это страшное дело. Мы с вами, конечно, ничего не знаем, шла и идет борьба с “хозяйном” из-за личных отношений ряда людей к нему. Кто делал революцию? Кто был в Политбюро первого состава?» Бабель взял при этом лист бумаги и стал выписывать имена членов ЦК ВКП(б) и Политбюро первых лет революции. Затем стал постепенно вычеркивать имена умерших, выбывших и, наконец, тех, кто прошел по последнему процессу... «Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского — самый блестящий знаток русского языка и литературы. Я считаю, что это не борьба контрреволюционеров, а борьба со Сталиным на основе личных отношений. Представляете ли вы себе, что делается в Европе и как теперь к нам будут относиться. Мне известно, что Гитлер после расстрела Каменева, Зиновьева и др. заявил: “Теперь я расстреляю Тельмана”. Эйзенштейн во время высказываний Бабеля не возражал ему».

Ежов не дал ход этому доносу, хотя мог бы, наверное, Бабеля стереть в порошок, да и Шолохову досталось бы. Похоже, что нарком ценил и любил писателей, прощая им адюльтеры — сам был грешен (и не только с женщинами, да и развратом в то время не брезговали многие представители советской элиты). Ежов знал и о других разговорах Бабеля, в которых писатель высоко отзывался о наркOME НКВД. Вполне верится в утверждение ряда биографов Бабеля, что тот часто и самодовольно повторял: «Меня никогда не арестуют».

Не застрелись Маяковский в 1930-м — и он бы стал звездой салона Ежовой. Мы хорошо знаем слова Сталина про «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи». А вот как полностью выглядит цитата: «Тов. Ежов! Очень прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличное отношение к его памяти и произведениям — преступление. Жалобы Брик, по-моему, правильны. Свяжитесь с ней или вызовите её в Москву... Сделайте, пожалуйста, всё, что упущено нами. Если моя помощь понадобится, я готов. Привет! И.Сталин». Это резолюция на обороте письма Лили Брик Сталину от 1935 года. Ежов принял Лилю, душевно с ней поговорил, сетовал, что плохо у нас издают Маяковского, на серой бумаге — разве так должны выглядеть произведения великого поэта? Он читал ей стихи Маяковского и вообще проявил большое внимание. После этой встречи и началась новая канонизация Маяковского, которого «стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине», по меткому выражению Пастернака. А все Ежов, ему отдельное спасибо за Маяковского.

Весною 1938 года посиделки у Ежовой закончились в связи с обострением у нее психического заболевания. В ноябре 1938 года она отравилась снотворным, якобы после сигнала мужа: «Пора мол, Женя, тучи над нами сгущаются!» Похоронили ее на Донском кладбище с почестями. Ежова сняли с поста наркома в декабре 1938-го, после чего он ударился в беспробудную пьянку. Арестовали его в апреле 1939 года, а через месяц взяли и Бабеля. Кольцов к тому времени уже был арестован. Всех троих расстреляли, а прах свезли в общую могилу на то же самое кладбище. Там они все опять и встретились.

Еще один не менее интересный богемный салон был у Лили Брик, но это уже другая история...